

Сергей Донатович
ДОВЛАТОВ
1941 – 1990

Сергей
ДОВЛАТОВ

Заповедник



Санкт-Петербург

Моей жене, которая была права

В двенадцать подъехали к Луге. Остановились на вокзальной площади. Девушка-экскурсовод сменила возвышенный тон на более земной:

— Там налево есть одно местечко...

Мой сосед заинтересованно приподнялся:

— В смысле — уборная?

Всю дорогу он изводил меня: «Отбеливающее средство из шести букв?.. Вымирающее парнокопытное?.. Австрийский горнолыжник?..»

Туристы вышли на залитую светом площадь. Водитель захлопнул дверцу и присел на корточки у радиатора.

Вокзал... Грязноватое желтое здание с колоннами, часы, обесцвеченные солнцем дрожащие неоновые буквы...

Я пересек вестибюль с газетным киоском и массивными цементными урнами. Интуитивно выявил буфет.

— Через официанта, — вяло произнесла буфетчица. На пологой груди ее болтался штопор.

Я сел у двери. Через минуту появился официант с громадными войлочными бакенбардами.

— Что вам угодно?

— Мне угодно, — говорю, — чтобы все были доброжелательны, скромны и любезны.

Официант, пресыщенный разнообразием жизни, молчал.

— Мне угодно сто граммов водки, пиво и два бутерброда.

— С чем?

— С колбасой, наверное...

Я достал папиросы, закурил. Безобразно дрожали руки. «Стакан бы не выронить...» А тут еще рядом уселись две интеллигентные старухи. Вроде бы из нашего автобуса.

Официант принес графинчик, бутылку и две конфеты.

— Бутерброды кончились, — проговорил он с фальшивым трагизмом.

Я расплатился. Поднял и тут же опустил стакан. Руки тряслись, как у эпилептика. Старухи брезгливо меня рассматривали. Я попытался улыбнуться:

— Взгляните на меня с любовью!

Старухи вздрогнули и пересели. Я услышал невнятные критические междометия.

Черт с ними, думаю. Обхватил стакан двумя руками, выпил. Потом с шуршанием развернул конфету.

Стало немного легче. Зарождался обманчивый душевный подъем. Я сунул бутылку пива

в карман. Затем поднялся, чуть не опрокинув стул. Вернее, дюралевое кресло. Старухи продолжали испуганно меня разглядывать.

Я вышел на площадь. Ограда сквера была завешена покоробившимися фанерными щитами. Диаграммы сулили в недалеком будущем горы мяса, шерсти, яиц и прочих интимностей.

Мужчины курили возле автобуса. Женщины шумно рассаживались. Девушка-экскурсовод ела мороженое в тени. Я шагнул к ней:

— Давайте познакомимся.

— Аврора, — сказала она, протягивая липкую руку.

— А я, — говорю, — танкер Дербент.

Девушка не обиделась.

— Над моим именем все смеются. Я привыкла... Что с вами? Вы красный!

— Уверяю вас, это только снаружи. Внутри я — конституционный демократ.

— Нет, правда, вам худо?

— Пью много... Хотите пива?

— Зачем вы пьете? — спросила она.

Что я мог ответить?

— Это секрет, — говорю, — маленькая тайна...

— Решили поработать в заповеднике?

— Вот именно.

— Я сразу поняла.

— Разве я похож на филолога?

— Вас провожал Митрофанов. Чрезвычайно эрудированный пушкинист. Вы хорошо его знаете?

— Хорошо, — говорю, — с плохой стороны...
— Как это?
— Не придавайте значения.
— Прочтите Гордина, Щеголева, Цявловскую... Воспоминания Керн... И какую-нибудь популярную брошюру о вреде алкоголя.

— Знаете, я столько читал о вреде алкоголя! Решил навсегда бросить... читать.

— С вами невозможно разговаривать...

Шофер поглядел в нашу сторону. Экскурсанты расселись.

Аврора доела мороженое, вытерла пальцы.

— Летом, — сказала она, — в заповеднике довольно хорошо платят. Митрофанов зарабатывает около двухсот рублей.

— И это на двести рублей больше, чем он стоит.

— А вы еще и злой!

— Будешь злым, — говорю.

Шофер просигналил дважды.

— Едем, — сказала Аврора.

В львовском автобусе было тесно. Коленковые сиденья накалились. Желтые занавески усиливали ощущение духоты.

Я перелистывал «Дневники» Алексея Вульфа. О Пушкине говорилось дружелюбно, иногда снисходительно. Вот она, пагубная для зрения близость. Всем ясно, что у гениев должны быть знакомые. Но кто поверит, что его знакомый — гений?!

Я задремал. Невнятно доносились какие-то лишние сведения о матери Рылеева...

Разбудили меня уже во Пскове. Вновь оштукатуренные стены кремля наводили тоску. Над центральной аркой дизайнеры укрепили безобразную, прибалтийского вида, кованую эмблему. Кремль напоминал громадных размеров макет.

В одном из флигелей находилось местное бюро путешествий. Аврора заверила какие-то бумаги, и нас повезли в «Геру» — самый фешенебельный местный ресторан.

Я колебался — добавлять или не добавлять? Добавишь — завтра будет совсем плохо. Есть не хотелось...

Я вышел на бульвар. Тяжело и низко шумели липы.

Я давно убедился: стоит задуматься, и тотчас вспоминаешь что-нибудь грустное. Например, последний разговор с женой...

— Даже твоя любовь к словам, безумная, нездоровая, патологическая любовь, — фальшива. Это — лишь попытка оправдания жизни, которую ты ведешь. А ведешь ты образ жизни знаменитого литератора, не имея для этого самых минимальных предпосылок... С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем...

— Ты действительно считаешь его хорошим писателем? Может быть, и Джек Лондон хороший писатель?

— Боже мой! При чем тут Джек Лондон?! У меня единственные сапоги в ломбарде... Я все могу простить. И бедность меня не пугает... Все, кроме предательства!

— Что ты имеешь в виду?

— Твое вечное пьянство. Твое... даже не хочу говорить... Нельзя быть художником за счет другого человека... Это подло! Ты столько говоришь о благородстве! А сам — холодный, жестокий, изворотливый человек...

— Не забывай, что я двадцать лет пишу рассказы.

— Ты хочешь написать великую книгу? Это удастся одному из сотни миллионов!

— Ну и что? В духовном отношении такая неудавшаяся попытка равна самой великой книге. Если хочешь, нравственно она даже выше. Поскольку исключает вознаграждение...

— Это слова. Бесконечные красивые слова... Надоело... У меня есть ребенок, за которого я отвечаю...

— У меня тоже есть ребенок.

— Которого ты месяцами игнорируешь. Мы для тебя — чужие...

(В разговоре с женщиной есть один болезненный момент. Ты приводишь факты, доводы, аргументы. Ты взываешь к логике и здравому смыслу. И неожиданно обнаруживаешь, что ей противен сам звук твоего голоса...)

— Умышленно, — говорю, — я зла не делал...

Я опустился на пологую скамейку. Вынул ручку и блокнот. Через минуту записал:

Любимая, я в Пушкинских Горах,
Здесь без тебя — уныние и скука,
Брожу по заповеднику, как сука.
И душу мне терзает жуткий страх...

И так далее.

Мои стихи несколько опережали действительность. До Пушкинских Гор оставалось километров сто.

Я зашел в хозяйственную лавку. Приобрел конверт с изображением Магеллана. Спросил зачем-то:

— Вы не знаете, при чем тут Магеллан?

Продавец задумчиво ответил:

— Может, умер... Или героя дали...

Наклеил марку, запечатал, опустил...

В шесть мы подъехали к зданию туристской базы. До этого были холмы, река, просторный горизонт с неровной кромкой леса. В общем, русский пейзаж без излишеств. Те обыденные его приметы, которые вызывают необъяснимо горькое чувство.

Это чувство всегда казалось мне подозрительным. Вообще страсть к неодушевленным предметам раздражает меня... (Я мысленно раскрыл записную книжку.) Есть что-то ущербное в нумизматах, филателистах, заядлых путешественниках, любителях кактусов и аквариумных рыб. Мне чуждо сонное долготерпение рыбака,

безрезультатная немотивированная храбрость альпиниста, горделивая уверенность владельца королевского пуделя...

Говорят, евреи равнодушны к природе. Так звучит один из упреков в адрес еврейской нации. Своей, мол, природы у евреев нет, а к чужой они равнодушны. Что ж, может быть, и так. Очевидно, во мне сказывается примесь еврейской крови...

Короче, не люблю я восторженных созерцателей. И не очень доверяю их восторгам. Я думаю, любовь к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма...

Я согласен, больную, парализованную мать острее жалеешь и любишь. Однако любоваться ее страданиями, выразить их эстетически — нелепость...

Ладно...

Подъехали к туристской базе. Какой-то идиот построил ее на расстоянии четырех километров от ближайшего водоема. Пруды, озера, речка знаменитая, а база — на солнцепеке. Правда, есть номера с душевыми кабинами... Изредка — горячая вода...

Заходим в экскурсионное бюро. Сидит такая дама, мечта отставника. Аврора сунула ей путевой лист. Расписалась, получила обеденные талоны для группы. Что-то шепнула этой пышной блондинке, которая сразу же взглянула на меня. Взгляд содержал неуступчивый беглый интерес,

деловую озабоченность и легкую тревогу. Она даже как-то выпрямилась. Резче зашуршали бумаги.

— Вы не знакомы? — спросила Аврора.

Я подошел ближе.

— Хочу поработать в заповеднике.

— Люди нужны, — сказала блондинка.

В конце этой реплики заметно ощущалось многоточие. То есть нужны именно хорошие, квалифицированные специалисты. А случайные, мол, люди — не требуются...

— Экспозицию знаете? — спросила блондинка и неожиданно представилась: — Галина Александровна.

— Я был здесь раза три.

— Этого мало.

— Согласен. Вот и приехал снова...

— Нужно как следует подготовиться. Простудировать методичку. В жизни Пушкина еще так много неисследованного... Кое-что изменилось с прошлого года...

— В жизни Пушкина? — удивился я.

— Извините, — перебила Аврора, — меня туристы ждут. Желаю удачи...

Она исчезла — юная, живая, полноценная. Завтра я услышу в одной из комнат музея ее чистый девичий голос:

«...Вдумайтесь, товарищи!.. „Я вас любил так искренне, так нежно...“ Миру крепостнических отношений противопоставил Александр Сергеевич этот вдохновенный гимн бескорыстия...»

— Не в жизни Пушкина, — раздраженно сказала блондинка, — а в экспозиции музея. Например, сняли портрет Ганнибала.

— Почему?

— Какой-то деятель утверждает, что это не Ганнибал. Ордена, видите ли, не соответствуют. Якобы это генерал Закомельский.

— Кто же это на самом деле?

— И на самом деле — Закомельский.

— Почему же он такой черный?

— С азиатами воевал, на юге. Там жара. Вот он и загорел. Да и краски темнеют от времени.

— Значит, правильно, что сняли?

— Да какая разница — Ганнибал, Закомельский... Туристы желают видеть Ганнибала. Они за это деньги платят. На фига им Закомельский?! Вот наш директор и повесил Ганнибала... Точнее, Закомельского под видом Ганнибала. А какому-то деятелю не понравилось... Простите, вы женаты?

Галина Александровна произнесла эту фразу внезапно и, я бы сказал, — застенчиво.

— Разведен, — говорю, — а что?

— Наши девушки интересуются.

— Какие девушки?

— Их сейчас нет. Бухгалтер, методист, экскурсоводы...

— Почему же они мной интересуются?

— Они не вами. Они всеми интересуются. У нас тут много одиноких. Парни разъехались... Кого наши девушки видят? Туристов? А что

туристы? Хорошо, если у них восьмидневка. Из Ленинграда так на сутки приезжают. Или на трое... А вы надолго?

— До осени. Если все будет хорошо.

— Где вы остановились? Хотите, я позвоню в гостиницу? У нас их две, хорошая и плохая. Вы какую предпочитаете?

— Тут, — говорю, — надо подумать.

— Хорошая — дороже, — объяснила Галя.

— Ладно, — сказал я, — денег все равно нет...

Она сразу же куда-то позвонила. Долго кого-то уговаривала. Наконец вопрос был решен. Где-то записали мою фамилию.

— Я вас провожу.

Давно я не был объектом такой интенсивной женской заботы. В дальнейшем она будет проявляться еще настойчивее. И даже перерастет в нажим.

Вначале я относил это за счет моей потускневшей индивидуальности. Затем убедился, насколько огромен дефицит мужского пола в этих краях. Кривоногий местный тракторист с локонами вокзальной шлюхи был окружен назойливыми румяными поклонницами.

— Умираю, пива! — вяло говорил он.

И девушки бежали за пивом...

Галя заперла дверь экскурсионного бюро. Мы направились через лес в сторону поселка.

— Вы любите Пушкина? — неожиданно спросила она.

Что-то во мне дрогнуло, но я ответил:

— Люблю... «Медного всадника», прозу...

— А стихи?

— Поздние стихи очень люблю.

— А ранние?

— Ранние тоже люблю, — сдался я.

— Тут все живет и дышит Пушкиным, — сказала Галя, — буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота... Цилиндр, крылатка, знакомый профиль...

Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач.

— Борька, хрен моржовый, — дико заорал он, — ты ли это?!

Я отозвался с неожиданным радушием. Еще один подонок застал меня врасплох. Вечно не успеваю сосредоточиться...

— Я знал, что ты приедешь, — не унимался Гурьянов...

Впоследствии мне рассказали такую историю. Была тут в начале сезона пьянка. Чья-то свадьба или день рождения. Присутствовал местный сотрудник госбезопасности. Заговорили обо мне. Кто-то из общих знакомых сказал:

— Он в Таллине.

Ему возразили:

— Нет, уже год, как в Ленинграде.

— А я слышал, что в Риге у Красильникова...

Следовали новые и новые версии.